

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



АНТОН ЧЕХОВ

Рассказы. Повести. Пьесы



Антон Павлович Чехов

**Бабье царство**  
(Рассказы)

# Содержание

I. Накануне . . . . .	0005
II. Утро . . . . .	.0027
III. Обед . . . . .	.0048
IV. Вечер . . . . .	.0067

# **Антон Павлович Чехов**

## **Бабье царство**

# I. Накануне

Вот толстый денежный пакет. Это из лесной дачи, от приказчика. Он пишет, что посылает полторы тысячи рублей, которые он отсудил у кого-то, выиграв дело во второй инстанции. Анна Акимовна не любила и боялась таких слов, как отсудил и выиграл дело. Она знала, что без правосудия нельзя, но почему-то, когда директор завода Назарыч или приказчик на даче, которые часто судились, выигрывали в пользу ее какое-нибудь дело, то ей всякий раз становилось жутко и как будто совестно. И теперь ей стало жутко и неловко, и захотелось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подальше, чтобы не видеть их.

Она думала с досадой: ее ровесницы, – а ей шел двадцать шестой год, – теперь хлопочут по хозяйству, утомились и крепко уснут, а завтра утром проснутся в праздничном настроении; многие из них давно уже повыходили замуж и имеют детей. Только она одна почему-то обязана, как старуха, сидеть за этими письмами, делать на них пометки, писать

ответы, потом весь вечер до полуночи ничего не делать и ждать, когда захочется спать, а завтра весь день будут ее поздравлять и просить у ней, а послезавтра на заводе непременно случится какой-нибудь скандал, – побьют кого, или кто-нибудь умрет от водки, и ее почему-то будет мучить совесть; а после праздников Назарыч уволит за прогул человек двадцать, и все эти двадцать будут без шапок жаться около ее крыльца, и ей будет совестно выйти к ним, и их прогонят, как собак. И все знакомые будут говорить за глаза и писать ей в анонимных письмах, что она миллионерша, эксплуататорша, что она заедает чужой век и сосет у рабочих кровь.

Вот в стороне лежит пачка прочитанных и уже отложенных писем. Это от просителей. Тут голодные, пьяные, обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные... Анна Акимовна уже наметила на каждом письме, кому три рубля, кому пять; письма эти сегодня же пойдут в контору, и завтра там будет происходить выдача пособий, или, как говорят служащие, кормление зверей.

Раздадут по мелочам и 470 рублей – проценты с капитала, завещанного покойным Акимом Иванычем на нищих и убогих. Будет безобразная толкотня. От ворот до дверей конторы потянется гусем длинный ряд каких-то чужих людей со звериными лицами, в лохмотьях, озябших, голодных и уже пьяных, поминающих хриплыми голосами матушку-благодетельницу Анну Акимовну и ее родителей; задние будут напирать на передних, а передние – браниться нехорошими словами. Конторщик, которому прискучат шум, брань и причитывания, выскочит и даст кому-нибудь по уху ко всеобщему удовольствию. А свои люди, рабочие, не получившие к празднику ничего, кроме своего жалованья, и уже истратившие всё до копейки, будут стоять среди двора, смотреть и посмеиваться – одни завистливо, другие иронически.

«Купцы, а особенно купчихи больше любят нищих, чем своих рабочих, – подумала Анна Акимовна. – Это всегда так».

Взгляд ее упал на денежный пакет. Хорошо бы раздать завтра эти ненужные, противные деньги рабочим, но нельзя ничего давать ра-

бочему даром, а то запросит в другой раз. Да и что значат эти полторы тысячи, если на заводе всех рабочих тысяча восемьсот с лишком, не считая их жен и детей? А то, пожалуй, выбрать одного из просителей, писавших эти письма, какого-нибудь несчастного, давно уже потерявшего надежду на лучшую жизнь, и отдать ему полторы тысячи. Бедняка ошеломят эти деньги, как гром, и, быть может, первый раз в жизни он почувствует себя счастливым. Эта мысль показалась Анне Акимовне оригинальной и забавной и развлекла ее. Она наудачу потянула из пачки одно письмо и прочла. Какой-то губернский секретарь Чаликов давно уже без места, болен и проживает в доме Гущина; жена в чахотке, пять малолетних дочерей. Гущинский четырехэтажный дом, в котором жил Чаликов, хорошо знала Анна Акимовна. Ах, нехороший, гнилой, нездоровый дом!

– Вот отдам этому Чаликову, – решила она. – Посылать не стану, лучше сама свезу, чтобы не было лишних разговоров. Да, – рассуждала она, пряча в карман полторы тысячи, – посмотрю и, пожалуй, девочек куда-ни-



будь пристрою.

Ей стало весело, она позвонила и приказала подавать лошадей.

Когда она садилась в сани, был седьмой час вечера. Окна во всех корпусах были ярко освещены, и оттого на громадном дворе казалось очень темно. У ворот и далеко в глубине двора, около складов и рабочих барачков горели электрические фонари.

Этих темных, угрюмых корпусов, складов и барачков, где жили рабочие, Анна Акимовна не любила и боялась. В главном корпусе после смерти отца она была только один раз. Высокие потолки с железными балками, множество громадных, быстро вертящихся колес, приводных ремней и рычагов, пронзительное шипение, визг стали, дребезжанье вагонеток, жесткое дыхание пара, бледные или багровые или черные от угольной пыли лица, мокрые от пота рубахи, блеск стали, меди и огня, запах масла и угля, и ветер, то очень горячий, то холодный, произвели на нее впечатление ада. Ей казалось, будто колеса, рычаги и горячие шипящие цилиндры стараются сорваться со своих связей, чтобы уничтожить людей, а

люди, с озабоченными лицами, не слыша друг друга, бегают и суетятся около машин, стараясь остановить их страшное движение. Анне Акимовне что-то показывали и почтительно объясняли. Она помнит, как в кузнечном отделении вытащили из печи кусок раскаленного железа и как один старик с ремешком на голове, а другой – молодой, в синей блузе, с цепочкой на груди и с сердитым лицом, должно быть, из старших, ударили молотками по куску железа, и как брызнули во все стороны золотые искры, и как, немного погодя, гремели перед ней громадным куском листового железа; старик стоял навтыжку и улыбался, а молодой вытирал рукавом мокрое лицо и объяснял ей что-то. И она еще помнит, как в другом отделении старик с одним глазом пилил кусок железа, и сыпались железные опилки, и как рыжий, в темных очках и с дырами на рубахе, работал у токарного станка, делая что-то из куска стали; станок ревел и визжал и свистел, а Анну Акимовну тошнило от этого шума, и казалось, что у нее сверлят в ушах. Она глядела, слушала, не понимала, благосклонно улыбалась, и ей было

стыдно. Кормиться и получать сотни тысяч от дела, которого не понимаешь и не можешь любить, – как это странно!

А в рабочих бараках она не была ни разу. Там, говорят, сырость, клопы, разврат, безначалие. Удивительное дело: на благоустройство бараков уходят ежегодно тысячи рублей, а положение рабочих, если верить анонимным письмам, с каждым годом становится все хуже и хуже...

«При отце было больше порядка, – думала Анна Акимовна, выезжая со двора, – потому что он сам был рабочий и знал, что нужно. Я же ничего не знаю и делаю одни глупости».

Ей опять стало скучно, и она была уже не рада, что поехала, и мысль о счастливице, на которого сваливаются с неба полторы тысячи, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ехать к какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падает миллионное дело, и рабочие в бараках живут хуже арестантов, – это значит делать глупости и обманывать свою совесть. По шоссе и около него через поле, направляясь к городским огням, шли толпами рабочие из соседних фабрик –

ситцевой и бумажной. В морозном воздухе раздавались смех и веселый говор. Анна Акимовна поглядела на женщин и малолетков, и ей вдруг захотелось простоты, грубости, тесноты. Она ясно представила себе то далекое время, когда ее звали Анюткой и когда она, маленькая, лежала под одним одеялом с матерью, а рядом, в другой комнате, стирала белье жилища-прачка, и из соседних квартир, сквозь тонкие стены, слышались смех, брань, детский плач, гармоника, жужжание токарных станков и швейных машин, а отец, Аким Иваныч, знавший почти все ремесла, не обращая никакого внимания на тесноту и шум, паял что-нибудь около печки или чертил или строгал. И ей захотелось стирать, гладить, бегать в лавку и кабак, как это она делала каждый день, когда жила с матерью. Ей бы рабочей быть, а не хозяйкой! Ее большой дом с люстрами и картинами, лакей Мишенька во фраке и с бархатными усиками, благолепная Варварушка и льстивая Агафьюшка, и эти молодые люди обоего пола, которые почти каждый день приходят к ней просить денег и перед которыми она почему-то всякий раз чув-

ствует себя виноватой, и эти чиновники, доктора и дамы, благотворящие на ее счет, льстящие ей и презирующие ее втайне за низкое происхождение, – как все это уже прискучило и чуждо ей!

Вот железнодорожный переезд и застава; пошли дома вперемежку с огородами; вот, наконец, и широкая улица, где стоит знаменитый дом Гущина. На улице, обыкновенно тихой, теперь по случаю кануна праздника было большое движение. В трактирах и портерных шумели. Если бы проезжал теперь по улице кто-нибудь не здешний, живущий в центре города, то он заметил бы только грязных, пьяных и ругателей, но Анна Акимовна, жившая с детства в этих краях, узнавала теперь в толпе то своего покойного отца, то мать, то дядю. Отец был мягкая, расплывчатая душа, немножко фантазёр, беспечный и легкомысленный; у него не было пристрастия ни к деньгам, ни к почету, ни к власти: он говорил, что рабочему человеку некогда разбирать праздники и ходить в церковь; и если б не жена, то он, пожалуй, никогда бы не говел и в пост ел бы скоромное. А дядя, Иван Ива-

ныч, наоборот, был кремень; во всем, что относилось к религии, политике и нравственности, он был крут и неумолим, и наблюдал не только за собой, но и за всеми служащими и знакомыми. Не дай бог, бывало, войти к нему в комнату и не перекреститься! Роскошные хоромы, в которых живет теперь Анна Акимовна, он держал закрытыми и отпирал их только в большие праздники для важных гостей, а сам жил в конторе, в одной маленькой комнатке, уставленной образами. Он тяготел к старой вере и постоянно принимал у себя старообрядческих архиереев и попов, хотя был крещен и венчан, и жену свою похоронил по обряду православной церкви. Брата Акима, своего единственного наследника, он не любил за легкомыслие, которое называл простотой и глупостью, и за равнодушие к вере. Он держал его в черном теле, на положении рабочего, платил ему по 16 рублей в месяц. Аким говорил своему брату вы и в прощенье дни со всем своим семейством кланялся ему в ноги. Но года за три до своей смерти Иван Иваныч приблизил его к себе, простил и приказал нанять для Анютки гувернантку.

Ворота под домом Гущина темные, глубокие, вонючие; слышно, как около стен покашливают мужчины. Оставив сани на улице, Анна Акимовна вошла во двор и спросила тут, как пройти в 46-й номер к чиновнику Чаликову. Ее направили к крайней двери направо, в третий этаж. И во дворе, и около крайней двери, даже на лестнице был тот же противный запах, что и под воротами. В детстве, когда отец Анны Акимовны был простым рабочим, она жила в таких домах, и потом, когда обстоятельства изменились, часто посещала их в качестве благотворительницы; узкая каменная лестница с высокими ступенями, грязная, прерываемая в каждом этаже площадкою; засаленный фонарь в пролете; смрад, на площадках около дверей корыта, горшки, лохмотья, — все это было знакомо ей уже давным-давно... Одна дверь была открыта, и в нее видно было, как на столах сидели портные-евреи в шапках и шили. На лестнице Анне Акимовне встречались люди, но ей и в голову не приходило, что ее могут обидеть. Рабочих и мужиков, трезвых и пьяных, она так же мало боялась, как своих интеллигент-

НЫХ ЗНАКОМЫХ.

В квартире № 46 сеней не было, и начиналась она с кухни. Обыкновенно в квартирах фабричных и мастеровых пахнет лаком, смолой, кожей, дымом, смотря по тому, чем занимается хозяин; квартиры же обедневших дворян и чиновников узнаются по промозглому запаху какой-то кислоты. Этот противный запах обдал Анну Акимовну и теперь, едва она переступила порог. В углу за столом сидел спиной к двери какой-то мужчина в черном сюртуке, должно быть, сам Чаликов, и с ним пять девочек. Старшей, широколицей и худенькой, с гребенкой в волосах, было на вид лет пятнадцать, а младшей, пухленькой, с волосами как у ежа, – не больше трех. Все шестеро ели. Около печи, с ухватом в руке, стояла маленькая, очень худая, с желтым лицом женщина в юбке и белой кофточке, беременная.

– Не ожидал я от тебя, Лизочка, что ты такая непослушная, – говорил мужчина с укоризной. – Ай, ай, как стыдно! Значит, ты хочешь, чтобы папочка тебя высек, да?

Увидев на пороге незнакомую даму, тощая



женщина вздрогнула и оставила хват.

– Василий Никитич! – окликнула она не сразу, глухим голосом, как будто не веря своим глазам.

Мужчина оглянулся и вскочил. Это был костлявый, узкоплечий человек, со впалыми висками и с плоскою грудью. Глаза у него были маленькие, глубокие, с темными кругами, нос длинный, птичий и немножко покривившийся вправо, рот широкий. Борода у него двоилась, усы он брил и от этого походил больше на выездного лакея, чем на чиновника.

– Здесь живет господин Чаликов? – спросила Анна Акимовна.

– Точно так-с, – строго ответил Чаликов, но тотчас же узнал Анну Акимовну и вскрикнул: – Госпожа Глаголева! Анна Акимовна! – и вдруг задохнулся и всплеснул руками, как бы от страшного испуга. – Благодетельница!

Со стоном он подбежал к ней и, мыча, как параличный, – на бороде у него была капуста, и пахло от него водкой, – припал лбом к муфте и как бы замер.

– Ручку! Ручку святую! – проговорил он, за-

дыхаясь. – Сон! Прекрасный сон! Дети, разбудите меня!

Он повернул к столу и сказал рыдающим голосом, потрясая кулаками:

– Провидение услышало нас! Пришла наша избавительница, наш ангел! Мы спасены! Дети, на колени! На колени!

Госпожа Чаликова и девочки, кроме самой младшей, стали для чего-то быстро убирать со стола.

– Вы писали, что ваша жена очень больна, – сказала Анна Акимовна, и ей стало со-вестно и досадно. «Полторы тысячи я ему не дам», – подумала она.

– Вот она, моя жена! – сказал Чаликов тонким женским голоском, как будто слезы ударили ему в голову. – Вот она, несчастная! Одною ногой в могиле! Но мы, сударыня, не ропщем. Лучше умереть, чем так жить. Умирай, несчастная!

«Что он ломается? – подумала Анна Акимовна с досадой. – Сейчас видно, что привык иметь дело с купцами».

– Говорите со мной, пожалуйста, по-человечески, – сказала она. – Я комедий не люблю.

– Да, сударыня, пятеро осиротевших детей вокруг гроба матери, при погребальных свечах – это комедия! Эх! – сказал Чаликов с горечью и отвернулся.

– Замолчи! – шепнула жена и дернула его за рукав. – У нас, сударыня, не прибрано, – сказала она, обращаясь к Анне Акимовне, – уж вы извините... Дело семейное, сами изволите знать. В тесноте, да не в обиде.

«Не дам я им полторы тысячи», – опять подумала Анна Акимовна.

И чтобы поскорее отделаться от этих людей и от кислого запаха, она уже достала портмонэ и решила оставить рублей 25 – не больше; но ей вдруг стало совестно, что она ехала так далеко и беспокоила людей из-за пустяков.

– Если вы дадите мне бумаги и чернил, то я сейчас напишу доктору, моему хорошему знакомому, чтобы он побывал у вас, – сказала она, краснея. – Доктор очень хороший. А на лекарства я вам оставлю.

Госпожа Чаликова бросилась стирать со стола.

– Здесь не чисто! Куда ты? – прошипел Ча-

ликов, глядя на нее со злобой. – Проводи к жильцу! Пожалуйте, сударыня, к жильцу, осмелюсь просить вас, – обратился он к Анне Акимовне. – Там чисто.

– Осип Ильич не велел ходить в его комнату! – сказала строго одна из девочек.

Но Анну Акимовну уже повели из кухни через узкую проходную комнату, меж двух кроватей; видно было по расположению постелей, что на одной спали двое вдоль, а на другой – трое поперек. В следующей затем комнате жильца, в самом деле, было чисто. Опрятная постель с красным шерстяным одеялом, подушка в белой наволочке, даже башмачок для часов, стол, покрытый пеньковой скатертью, а на нем чернильница молочного цвета, перья, бумага, фотографии в рамочках, все как следует, и другой стол, черный, на котором в порядке лежали часовые инструменты и разобранные часы. На стенах были развешаны молотки, клещи, буравчики, стамески, плоскозубцы и т. п., и висело трое стеновых часов, которые тикали; одни часы громадные, с толстыми гирями, какие бывают в трактирах.

Принимаясь за письмо, Анна Акимовна увидела перед собой на столе портрет отца и свой портрет. Это ее удивило.

– Кто здесь у вас живет? – спросила она.

– Жилец, сударыня, Пименов. Он у вас на заводе служит.

– Да? А я думала, часовой мастер.

– Часами он занимается приватным образом, между делом. Любитель-с.

После некоторого молчания, когда слышно было только, как тикали часы и скрипело перо по бумаге, Чаликов вздохнул и сказал насмешливо, с негодованием:

– Правда говорится: из благородства да из чинов шубы себе не сошьешь. Кокарда на лбу и благородный титул, а кушать нечего. Помому, если человек низкого звания помогает бедным, то он гораздо благороднее какого-нибудь Чаликова, который погряз в нищете и пороке.

Чтобы польстить Анне Акимовне, он сказал еще несколько фраз, обидных для своего благородства, и было ясно, что он унижал себя потому, что считал себя выше ее. Она между тем кончила письмо и запечатала. Письмо

будет брошено, а деньги пойдут не на лечение, – это она знала, но все-таки положила на стол 25 рублей и, подумав, прибавила еще две красных бумажки. Тощая желтая рука госпожи Чаликовой, похожая на куриную лапку, мелькнула у нее перед глазами и сжала деньги в кулачок.

– Это вы изволили дать на лекарства, – сказал Чаликов дрогнувшим голосом, – но протяните руку помощи также мне... и детям, – добавил он и всхлипнул, – детям несчастным! Не за себя боюсь, за дочерей боюсь! Гидры разврата боюсь!

Стараясь открыть портмонэ, в котором испортился замочек, Анна Акимовна сконфузилась, покраснела. Ей было стыдно, что люди стоят перед ней, смотрят ей в руки и ждут и, вероятно, в глубине души смеются над ней. В это время кто-то вошел в кухню и застучал ногами, стряхивая снег.

– Жилец пришел, – сказала госпожа Чаликова.

Анна Акимовна еще больше сконфузилась. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из заводских застал ее в этом смешном положении.

Жилец, как нарочно, вошел в свою комнату в ту самую минуту, когда она, сломавши наконец, замочек, подавала Чаликову несколько бумажек, а Чаликов мычал, как параличный, и искал губами, куда бы поцеловать ее. В жильце она узнала рабочего, который когда-то в кузнечном отделении гремел перед ней железным листом и давал ей объяснения. Очевидно, он пришел теперь прямо с завода: лицо у него было смуглое от копоти, и одна щека около носа запачкана сажей. Руки совсем черные, и блуза без пояса лоснилась от масляной грязи. Это был мужчина лет тридцати, среднего роста, черноволосый, плечистый и, по-видимому, очень сильный. Анна Акимовна с первого же взгляда определила в нем старшего, получающего не меньше 35 рублей в месяц, строгого, крикливого, бьющего рабочих по зубам, и это видно было по его манере стоять, по той позе, какую он невольно вдруг принял, увидев у себя в комнате даму, а главное потому, что у него были брюки навыпуск, карманы на груди и острая, красиво подстриженная борода. Покойный отец, Аким Иваныч, был братом хозяина, а все-таки

боялся старших, вроде этого жильца, и заискивал у них.

– Извините, мы без вас распорядились тут, – сказала Анна Акимовна.

Рабочий смотрел на нее с удивлением, конфузливо улыбался и молчал.

– Вы сударыня, погромче... – тихо сказал Чаликов. – Господин Пименов, когда приходят по вечерам с завода, бывают туги на ухо.

Но Анна Акимовна была уже рада что ей тут больше нечего делать, кивнула головой и быстро вышла. Пименов пошел проводить ее.

– Вы давно у нас служите? – спросила она громко, не оборачиваясь к нему.

– С девяти лет. Я еще при вашем дяденьке определился.

– Как, однако, давно! Вот дядя и отец знали всех служащих, а я почти никого не знаю. Я вас видела и раньше, но не знала, что ваша фамилия Пименов.

Анна Акимовна чувствовала желание оправдаться перед ним, сделать вид, что давала она сейчас деньги не серьезно, а шутя.

– Ох, эта бедность! – вздохнула она. – Творим мы добрые дела и в праздники, и в буд-



ни, а все толку нет. Мне кажется, что помогать таким, как этот Чаликов, бесполезно.

– Конечно, бесполезно, – согласился Пименов. – Сколько ни дайте, все пропьет. А теперь всю ночь муж и жена будут отнимать друг у дружки и драться, – добавил он и засмеялся.

– Да, надо сознаться, наша филантропия бесполезна, скучна и смешна. Но ведь тоже, согласитесь, нельзя сидеть сложа руки, надо делать что-нибудь. Например, что делать с Чаликовыми?

Она обернулась к Пименову и остановилась, ожидая от него ответа; он тоже остановился и медленно и молча пожал плечами. Очевидно, он знал, что делать с Чаликовыми, но это было так грубо и нечеловечно, что он не решался даже сказать. И Чаликовы были для него до такой степени не интересны и ничтожны, что через мгновение он уже не помнил о них; глядя в глаза Анне Акимовне, он улыбался от удовольствия, и выражение у него было такое, как будто ему снилось что-то очень хорошее. Анна Акимовна только теперь, стоя к нему близко, по его лицу, особенно по глазам, увидела, как он утомлен и как

ему хочется спать.

«Вот ему бы дать те полторы тысячи!» – подумала она, но эта мысль почему-то показалась ей несообразной и оскорбительной для Пименова.

– У вас небось все тело болит от работы, а вы меня провожаете, – сказала она, спускаясь по лестнице. – Идите домой.

Но он не расслышал. Когда выходили на улицу, он забежал вперед, отстегнул у саней полсть и, подсаживая Анну Акимовну, сказал:

– Благополучно праздника встретить!

## II. Утро

— Уж давно отзвонили! Наказание господне, и к шапочному разбору не поспеете! Вставайте!

— Две лошади бегут, бегут... — сказала Анна Акимовна и проснулась; перед ней со свечой в руках стояла ее горничная, рыжая Маша. — Что? Что тебе?

— Обедня уже отошла! — говорила Маша с отчаяньем. — Третий раз бужу! По мне хоть до вечера спите, но ведь сами приказали будить!

Анна Акимовна приподнялась на локоть и взглянула на окно. На дворе еще было совсем темно, и только нижний край оконной рамы белел от снега. Слышался густой низкий звон, но это звонили не в приходе, а где-то дальше. Часы на столике показывали три минуты седьмого.

— Хорошо, Маша... Через три минутки... — сказала Анна Акимовна умоляющим голосом и укрылась с головой.

Она представила себе снег у крыльца, сани, темное небо, толпу в церкви и запах можжевельника, и ей стало жутко, но она все-та-

ки решила, что тотчас же встанет и поедет к ранней обедне. И пока она грелась в постели и боролась со сном, который, как нарочно, бывает удивительно сладок, когда не велят спать, и пока ей мерещился то громадный сад на горе, то гуцинский дом, ее все время беспокоила мысль, что ей надо сию минуту встать и ехать в церковь.

Но когда она встала, было уже совсем светло, и часы показывали половину десятого. За ночь навалило много нового снега, деревья оделись в белое, и воздух был необыкновенно светел, прозрачен и нежен, так что когда Анна Акимовна поглядела в окно, то ей, прежде всего, захотелось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остаток давнего детского чувства, — радость, что сегодня Рождество, вдруг шевельнулась в ее груди, и после этого стало легко, свободно и чисто на душе, как будто и душа умылась или окунулась в белый снег. Вошла Маша, разряженная и крепко затянутая в корсет, и поздравила с праздником; потом она долго причесывала и помогала надевать платье. Запах и ощущение нового, пышного, прекрасного платья, его лег-

кий шум и запах свежих духов возбуждали Анну Акимовну.

– Вот и святки, – сказала она весело Маше. – Теперь будем гадать.

– Мне летошний год вышло – за стариком быть. Три раза так выходило.

– Ну, бог милостив.

– А что ж, Анна Акимовна? Я так думаю, чем ни то ни се, ни два ни полтора, так уж лучше за старика, – сказала печально Маша и вздохнула. – Мне уж двадцать первый год пошел, не шутка.

Всем в доме было известно, что рыжая Маша была влюблена в лакея Мишеньку, и вот уже три года, как продолжалась эта глубокая, страстная, но безнадежная любовь.

– Ну, полно пустяки говорить, – утешила Анна Акимовна. – Мне скоро тридцать лет, а я всё собираюсь за молодого.

Пока хозяйка одевалась, Мишенька, в новом фраке и в лакированных ботинках, ходил по зале и гостиной и ждал, когда она выйдет, чтобы поздравить ее с праздником. Он ходил всегда как-то особенно, мягко и нежно ступая; глядя при этом на его ноги, руки и наклон го-

ловы, можно было подумать, что он это не просто ходит, а учится танцевать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкие бархатные усики и красивую, несколько даже шулерскую наружность, он был степенен, рассудителен и набожен, как старик. Молился он богу всегда с земными поклонами и любил кадить у себя в комнате ладаном. Богатых и знатных он уважал и благоговел пред ними, бедняков же и всякого рода просителей презирал всею силою своей лакейски-чистоплотной души. Под крахмальной сорочкой у него была еще фланелевая, которую он носил зимою и летом, крепко дорожа своим здоровьем; уши были заткнуты ватой.

Когда через залу проходила Анна Акимовна с Машей, он склонил голову вниз и несколько набок и сказал своим приятным, медовым голосом:

— Честь имею поздравить вас, Анна Акимовна, с высокаторжественным праздником Рождества Христова.

Анна Акимовна дала ему пять рублей, а бедная Маша обомлела. Его праздничный вид, поза, голос и то, что он сказал, поразили

ее свою красоту и изяществом; продолжая идти за своею барышней, она уже ни о чем не думала, ничего не видела и только улыбалась то блаженно, то горько.

Верхний этаж в доме назывался чистой, или благородной половиной и хоромами, нижнему же, где хозяйничала тетушка Татьяна Ивановна, было присвоено название торговой, стариковской, или просто бабьей половины. В первой принимали обыкновенно благородных и образованных, а во второй – кого попроще и личных знакомых тетушки. Красивая, полная, здоровая, еще молодая и свежая, чувствуя на себе роскошное платье, от которого, казалось ей, во все стороны шло сияние, Анна Акимовна спустилась в нижний этаж. Тут ее встретили упреками, что она, образованная, бога забыла, проспала обедню и не приходила вниз разговляться, и все всплескивали руками и искренно говорили, что она красивая, необыкновенная, и она верила этому, смеялась, целовалась и совала кому рубль, кому три или пять, смотря по человеку. Ей нравилось внизу. Куда ни взглянешь – киоты, образа, лампы, портреты ду-

ховных особ, пахнет монахами, в кухне стучат ножами, и уже понесся по всем комнатам запах чего-то скоромного, очень вкусного. Желтые крашеные полы сияют, и от дверей к передним углам идут дорожками узкие ковры с ярко-синими полосами, а солнце так и режет в окна.

В столовой сидят какие-то чужие старушки; в комнате Варварушки тоже старушки и с ними глухонемая девица, которая все стыдится чего-то и говорит: «блы, блы...» Две тощенькие девочки, взятые из приюта на праздники, подошли к Анне Акимовне, чтобы поцеловать ручку, и остановились перед ней, пораженные роскошью ее платья; она заметила, что одна из девочек косенькая, и среди легкого праздничного настроения у нее вдруг болезненно сжалось сердце от мысли, что эту девочкой будут пренебрегать женихи и она никогда не выйдет замуж. В комнате у кухарки Агафьюшки за самоваром сидело человек пять громадных мужиков в новых рубахах, но это были не рабочие с завода, а кухонная родня. Увидев Анну Акимовну, мужики вскочили с мест и из приличия перестали же-



вать, хотя у всех были полные рты; в комнату вошел из кухни повар Степан, в белом колпаке и с ножом в руке, и поздравил; пришли дворники в валенках и тоже поздравили. Выглянул водовоз с сосульками на бороде, но не посмел войти.

Анна Акимовна ходила по комнатам, а за нею весь штат: тетушка, Варварушка, Ннкандровна, швейка Марфа Петровна, нижняя Маша. Варварушка, худая, тонкая, высокая, выше всех в доме, одетая во все черное, пахнущая кипарисом и кофеем, в каждой комнате крестилась на образа и кланялась в пояс, и при взгляде на нее почему-то всякий раз приходило на память, что она уже приготовила себе к смертному часу саван и что в том же сундуке, где лежит этот саван, спрятаны также ее выигрышные билеты.

– Ты, Анютинька, будь милостива ради праздника, – сказала она, отворяя дверь в кухню. – Прости его, уж бог с ним! Ну их!

Среди кухни на коленях стоял кучер Пантелей, уволенный за пьянство еще в ноябре. Это был добрый человек, но во хмелю он бывал буен и никак не мог уснуть, а всё ходил в

корпуса и кричал там угрожающим тоном: «Мне все известно!» Теперь по его брыласто-му, опухшему лицу и по глазам, налитым кровью, видно было, что с ноября до праздника он пил не переставая.

– Простите, Анна Акимовна! – проговорил он хриплым голосом, стукнув лбом о пол и показывая свой бычий затылок.

– Тебя тетушка уволила, у нее и проси.

– Что тетушка? – говорила тетушка, входя в кухню и тяжело дыша; она была очень толста, и на ее груди могли бы поместиться самовар и поднос с чашками. – Что там еще тетушка? Ты тут хозяйка, ты и распорядись, а по мне их, подлецов, хоть бы вовсе не было. Ну, вставай, боров! – крикнула она на Пантелея, не вытерпев. – Пошел с глаз! Последний раз тебя прощаю, а случится опять грех – не проси милости!

Затем пошли в столовую пить кофе. Но едва сели за стол, как опрометью вбежала нижняя Маша и проговорила с ужасом: «Певчие!» – и побежала назад. Послышались сморканье, низкий басовый кашель и шум шагов, похожий на то, как будто в переднюю около

залы вводили подкованных лошадей. На полминуты все затихло... Певчие вскрикнули внезапно и так громко, что все вздрогнули. Пока они пели, приехал богаделенский батюшка, а с ним дьякон и дьячок. Надевая епитрахиль, батюшка медленно рассказал, что ночью, когда звонили к утрени, шел снег и было не холодно, а к утру мороз стал крепчать, бог с ним, и теперь, должно быть, градусов двадцать.

– Многие однако утверждают, что зима для человека здоровее, чем лето, – сказал дьякон, но тотчас же придал своему лицу суровое выражение и запел вслед за священником: «Рождество твое, Христе боже наш...»

Вскоре приехал батюшка из чернорабочей больницы с дьячком, потом сестры из общины, дети из приюта, и пение слышалось почти непрерывно. Пели, закусывали и уходили.

Пришли с поздравлением служащие на заводе, человек двадцать. Тут были одни только старшие: механики, их помощники, модельщики, бухгалтер и проч., – все благообразные, в новых черных сюртуках. Всё это были мо-

лодцы, точно на подбор, каждый знал себе цену, т. е. знал, что, потеряй он сегодня место, завтра же его с удовольствием пригласят на другой завод. По-видимому, тетушку они любили, так как держали себя при ней свободно и даже курили, а бухгалтер, когда толпой подходили к закуске, взял ее за широкую талию. Развязны они были отчасти и оттого, быть может, что Варварушка, имевшая при стариках большую власть и следившая за нравственностью служащих, теперь не имела в доме никакого значения, а, быть может, и оттого, что многие из них еще помнили время, когда тетушка Татьяна Ивановна, которую братья держали в строгости, была одета простою бабой, на манер Агафьюшки, и когда Анна Акимовна бегала по двору около корпусов и все звали ее Анюткой.

Служащие кушали, говорили и посматривали с недоумением на Анну Акимовну: как она выросла, как похорошела! Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями девушка была уже чужая для них, непонятная, и они невольно держались больше около тетушки, которая говорила им ты, уго-

щала их непрерывно и, чокаясь с ними, уже выпила две рюмки рябиновой. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая, выскочка или ворона в павлиньих перьях; и теперь, пока служащие толпились около закуски, она не выходила из столовой и вмешивалась в разговор. У своего вчерашнего знакомого Пименова она спросила:

– Отчего у вас в комнате так много часов?

– Я в починку беру, – ответил он. – Занимаюсь этак между делом, по праздникам, или когда не спится.

– Значит, если у меня испортятся часы, то я могу отдать вам их в починку? – спросила Анна Акимовна, смеясь.

– Что ж? Я с удовольствием, – сказал Пименов, и на лице его выразилось умиление, когда она, сама не зная зачем, отцепила от корсажа свои великолепные часики и подала ему: он молча осмотрел их и возвратил. – Что ж? Я с удовольствием, – повторил он. – Я уже не починая карманных часов. У меня зрение слабое, и доктор запретил мне заниматься мелкой работой. Но для вас я могу сделать ис-

ключение.

– Доктора врут, – сказал бухгалтер; все засмеялись. – Ты не верь им, – продолжал он, польщенный этим смехом. – В прошлом году, в посту, из барабана зуб выскочил и угораздил прямо в старика Калмыкова, в голову, так что мозг видать было, и доктор сказал, что помрет; иначе, до сих пор жив и работает, только после этой штуки заикаться стал.

– Врут-то, врут доктора, да не очень, – вздохнула тетушка. – Петр Андреич покойничек потерял глаза. Так же вот, как ты, день-деньской работал на заводе около горячей печки и ослеп. Глаза не любят жара. Ну, да что толковать? – встрепенулась она. – Пойдем выпьем! С праздничком вас поздравляю, голубчики мои. Ни с кем не пью, а с вами выпью, грешница. Дай бог!

Анне Акимовне казалось, что Пименов после вчерашнего презирает ее как филантропку, но очарован ею как женщиной. Она смотрела на него и находила, что он держится очень мило и одет прилично. Правда, у сюртука немного рукава коротки и, кажется, талия высокая и брюки не модные, не широкие,

но зато галстук повязан со вкусом и небрежно, и не так ярко, как у других. И, по-видимому, он добродушный человек, так как покорно кушает все, что кладет ему на тарелку те-тушка. Она вспомнила, какой он был вчера черный и как ему хотелось спать, и это воспоминание почему-то растрогало ее.

Когда служащие собрались уходить, Анна Акимовна подала Пименову руку, ей хотелось сказать ему, чтоб он как-нибудь запросто пришел посидеть, но не сумела: как-то язык не послушался; и чтобы не подумали, что Пименов ей поправился, она и товарищам его подала руку.

Затем пришли ученики той школы, где она была попечительницей. Все они были острижены и одеты в однообразные серые блузы. Учитель, – высокий, еще безусый молодой человек с красными пятнами на лице, – заметно волнуясь, выстроил учеников в ряды; мальчики запели стройно, но резкими, неприятными голосами. Директор завода, Назарыч, лысый, остроглазый старовер, никогда не ладил с учителями, но этого, который теперь суетливо помахивал рукой, он презирал

и ненавидел, сам не зная за что. Он обращался с ним высокомерно и грубо, задерживал жалованье и вмешивался в преподавание, и, чтобы окончательно выжить его, недели за две до праздника определил в школу сторожем дальнего родственника своей жены, пьяного мужика, который не слушался учителя и при учениках говорил ему дерзости.

Анне Акимовне все это было известно, но помочь она не могла, так как сама боялась Назарыча. Теперь ей хотелось, по крайней мере, обласкать учителя, сказать ему, что она им очень довольна, но когда после пения он стал сильно конфузиться и извиняться в чем-то, и когда тетушка, говоря ему ты, фамильярно потащила его к столу, ей стало скучно и неловко, и она, приказав дать детям гостинцев, пошла к себе наверх.

– В этих праздничных порядках в сущности много жестокого, – сказала она немного погодя, как бы про себя, глядя в окно на мальчиков, как они толпою шли от дома к воротам и на ходу, пожимаясь от холода, надевали свои шубы и пальто. – В праздники хочется отдыхать, сидеть дома с родными, а бедные



мальчики, учитель, служащие обязаны почему-то идти по морозу, потом поздравлять, выражать свое почтение, конфузиться...

Мишенька, стоявший тут же в зале у дверей и слышавший это, сказал:

– Не от нас это пошло, не нами и кончится. Конечно, я необразованный человек, Анна Акимовна, но так понимаю, бедные должны всегда почитать богатых. Сказано: бог шельму метит. В острогах, в ночлежных домах и в кабаках всегда только одни бедные, а порядочные люди, заметьте, всегда богатые. Про богатых сказано: бездна бездну призывает.

– Вы, Миша, всегда выражаетесь как-то скучно и непонятно, – сказала Анна Акимовна и пошла в другой конец залы.

Был только двенадцатый час в начале. Тишина громадных комнат, нарушаемая только изредка пением, доносившимся из нижнего этажа, нагоняла зевоту. Бронза, альбомы и картины на стенах, изображавшие море с кораблями, луг с коровками и рейнские виды, были до такой степени не новы, что взгляд только скользил по ним и не замечал их. Праздничное настроение стало уже при-

скупать. Анна Акимовна по-прежнему чувствовала себя красивою, доброю и необыкновенною, но уже ей казалось, что это никому не нужно; казалось ей, что и это дорогое платье она надела неизвестно для кого и для чего. И ее уже, как это бывало во все праздники, стали томить одиночество и неотвязная мысль, что ее красота, здоровье, богатство – один лишь обман, так как она лишняя на этом свете, никому она не нужна, никто ее не любит. Она прошлась по всем комнатам, напевая и поглядывая в окна. Остановившись в зале, она не могла удержаться, чтобы не заговорить с Мишенькой.

– Не знаю, Миша, что вы о себе думаете, – сказала она и вздохнула. – Право, за это даже бог накажет.

– Вы о чем-с?

– Вы знаете, о чем. Извините, что я вмешаюсь в ваши личные дела, но мне кажется, вы сами из упрямства портите себе жизнь. Согласитесь, вам теперь как раз самая пора жениться, а она девушка прекрасная, достойная. Лучше ее вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная... А наружность!..

Принадлежи она к нашему или высшему кругу, в нее влюблялись бы за одни чудные рыжие волосы. Посмотрите, как у нее волосы подходят к цвету лица. Ах, боже мой, вы ничего не понимаете и сами не знаете, что вам нужно, – сказала с горечью Анна Акимовна, и слезы выступили у нее на глазах. – Бедная девочка, мне ее так жалко! Я знаю, вы хотите взять с деньгами, но я вам уже говорила: я за Машей дам приданое.

Свою будущую супругу Мишенька рисовал в воображении не иначе, как в виде высокой, полной, солидной и благочестивой женщины с походкой как у павы и почему-то непременно с длинною шалью на плечах, а Маша худа и тонка, стянута в корсет, и походка у нее мелкая, а главное, она была слишком соблазнительна и подчас сильно нравилась Мишеньке, но это, по его мнению, годилось не для брака, а лишь для дурного поведения. Когда Анна Акимовна пообещала дать приданое, то он некоторое время колебался; но как-то бедный студент в коричневом пальто поверх мундира, приходивший к Анне Акимовне с письмом, не мог удержаться и, восхищен-

ный, обнял Машу внизу около вешалок, и она слегка вскрикнула; Мишенька, стоя наверху на лестнице, видел это и с той поры стал питать к Маше брезгливое чувство. Бедный студент! Кто знает, если бы ее обнял богатый студент или офицер, то последствия были бы другие...

– Отчего же вы не хотите? – спрашивала Анна Акимовна. – Чего вам еще нужно?

Мишенька молчал и неподвижно глядел на кресло, подняв брови.

– Вы любите другую?

Молчание. Вошла рыжая Маша с письмами и визитными карточками на подносе. Догадавшись, что разговор шел о ней, она покраснела до слез.

– Почтальоны приходили, – пробормотала она. – И там пришел какой-то чиновник Чаликов и дожидается внизу. Говорит, что вы приказали ему зачем-то прийти сегодня.

– Какая наглость! – рассердилась Анна Акимовна. – Я ему ничего не приказывала. Скажите, чтоб он убирался, меня дома нет!

Послышался звонок. Это были священники из своего прихода; их всегда принимали в

благородной половине, то есть наверху. Вслед за попами пришли с визитом директор завода Назарыч и фабричный доктор, потом Мишенька доложил об инспекторе народных училищ. Прием визитеров начался.

Когда выпадали свободные минутки, Анна Акимовна садилась в гостиной в глубокое кресло и, закрыв глаза, думала о том, что одиночество ее вполне естественно, так как она не вышла замуж и никогда не выйдет. Но в этом не она виновата. Сама судьба из простой рабочей обстановки, где, если верить воспоминаниям, ей было так удобно и по себе, бросила ее в эти громадные комнаты, где она никак не может придумать, что с собой делать, и не может понять, для чего пред ней мелькает так много людей; то, что происходило теперь, казалось ей ничтожным, ненужным, так как ни на одну минуту не давало ей счастья и не могло дать.

«Вот влюбиться бы, – думала она, потягиваясь, и от одной этой мысли у нее около сердца становилось тепло. – И от завода избавиться бы...» – мечтала она, воображая, как с ее совести сваливаются все эти тяжелые кор-

пуса, бараки, школа... Затем она вспомнила отца и подумала, что если бы он жил дольше, то, наверное, выдал бы ее за простого человека, например, за Пименова. Приказал бы ей выходить за него – вот и все. И это было бы хорошо: завод тогда попал бы в настоящие руки.

Она представила себе его курчавую голову, смелый профиль, тонкие, насмешливые губы и силу, страшную силу в его плечах, руках, в груди и то умиление, с каким он сегодня рассматривал ее часики.

– Что ж? – проговорила она. – И ничего бы... Я бы вышла.

– Анна Акимовна! – позвал ее Мишенька, неслышно войдя в гостиную.

– Как вы меня испугали! – сказала она, вздрогнув всем телом. – Что вам?

– Анна Акимовна! – повторил он, прикладывая руку к сердцу и поднимая брови. – Вы – моя госпожа и благодетельница, и вы одна только можете наставлять меня насчет брака, так как вы для меня всё равно, что мать родная... Но прикажите, чтобы внизу не смеялись и не дразнили. Проходу не дают!

– А как они вас дразнят?

– Говорят: Машенькин Мишенька.

– Фуй, какой вздор! – возмутилась Анна Акимовна. – Как вы все глупы! Какой вы глупый, Миша! Как вы надоели мне! Я вас видеть не хочу!

### III. Обед

Как и в прошлом году, последние приехали с визитом действительный статский советник Крылин и известный адвокат Лысевич. Приехали они, когда на дворе становилось уже темно. Крылин, старик за 60 лет, с широким ртом и с седыми бакенами около ушей, похожий лицом на рысь, был в мундире с аннинскою лентой и в белых штанах. Он долго держал руку Анны Акимовны в своих обеих руках, глядел ей пристально в лицо, шевелил губами и наконец сказал с расстановкой, в одну ноту:

— Я уважал вашего дядюшку... и батюшку, и пользовался их расположением. Теперь считаю приятным долгом, как видите, поздравить их уважаемую наследницу... несмотря на болезнь и на значительное расстояние... И весьма рад видеть вас в добром здравье.

Присяжный поверенный Лысевич, высокий красивый блондин, с легкою проседью в висках и бороде, отличается необыкновенно изящными манерами. Он входит с переваль-



цем, кланяется будто нехотя и, разговаривая, поводит плечами, и всё это с ленивою грацией, как застоявшийся избалованный конь. Он сыт, чрезвычайно здоров и богат; раз даже выиграл сорок тысяч, но скрыл это от своих знакомых. Любит хорошо покушать, особенно сыры, трюфели, тертую редьку с конопляным маслом, а в Париже, по его словам, он ел жареные немытые кишки. Говорит он складно, плавно, без запинки, и лишь из кокетства иной раз позволит себе запнуться и щёлкнуть пальцами, как бы подбирая слово. Во всё то, что ему приходится говорить на суде, он давно уже не верит или, быть может, и верит, но не придает этому никакой цены, – всё это давно уже известно, старо, обыкновенно... Он верит в одно только оригинальное и необыденное. Прописная мораль в оригинальной форме вызывает у него слезы. Обе записные книжки у него исписаны необыкновенными выражениями, которые он вычитывает у разных авторов, и когда ему нужно бывает отыскать какое-нибудь выражение, то он нервно роется в обеих книжках и обыкновенно не находит. Еще покойный Аким Иваныч в весе-

люю минуту из тщеславия пригласил его в поверенные по делам завода и назначил ему двенадцать тысяч жалованья. Все заводские дела заключались в двух-трех мелких взысканиях, которые Лысевич поручал своим помощникам.

Анна Акимовна знала, что на заводе ему нечего делать, но отказать ему не могла: не хватало мужества, да и привыкла к нему. Он называл себя ее юрисконсультом, а свое жалованье, за которым он присылал аккуратно каждое первое число, – суровою прозой. Анне Акимовне было известно, что когда после смерти отца продавали ее лес на шпалы, то Лысевич нажил на этой продаже больше пятнадцати тысяч и поделился с Назарычем. Узнавши об этом обмане, Анна Акимовна горько заплакала, но потом привыкла.

Поздравив и поцеловав обе руки, он смеялся ей взглядом и поморщился.

– Не надо! – сказал он с искренним огорчением. – Я говорил, милая, не надо!

– Вы о чем, Виктор Николаич?

– Я говорил: не надо полнеть. В вашем роду у всех несчастная склонность к полноте. Не

надо, – повторил он умоляющим голосом и поцеловал руку. – Вы такая хорошая! Вы такая славная! Вот, ваше превосходительство, – обратился он к Крылину, – рекомендую: единственная в свете женщина, которую я когда-либо серьезно любил.

– Это неудивительно. Быть в ваши годы знакомым с Анной Акимовной и не любить ее – это невозможно.

– Я ее обожаю! – продолжал адвокат совершенно искренно, но со своею обычною ленивою грацией. – Я люблю, но не потому, что я мужчина, а она женщина; когда я с ней, то кажется, что она какого-то третьего пола, а я четвертого, и мы уносимся вместе в область тончайших цветовых оттенков и там сливаемся в спектр. Лучшее всех определяет подобные отношения *Leconte de Lisle*. У него есть одно превосходное место, удивительное место.

Лысевич порылся в одной книжке, потом в другой и, не найдя изречения, успокоился. Стали говорить о погоде, об опере, о том, что скоро приедет Дузе. Анна Акимовна вспомнила, что Лысевич и, кажется, Крылин в про-

плом году обедали у нее, и теперь, когда они собрались уходить, она искренно и умоляющим голосом стала доказывать им, что так как они уже больше никуда не поедут с визитом, то должны остаться у нее пообедать. После некоторого колебания гости согласились.

Кроме обеда, состоящего из щей, поросенка, гуся с яблоками и проч., на кухне в большие праздники готовили еще так называемый французский или поварской обед, на случай, если кто из гостей в верхнем этаже пожелает откусать. Когда в столовой застучали посудой, Лысевич стал проявлять заметное возбуждение; он потирал руки, поводил плечами, жмурился и с чувством рассказывал о том, какие обеды когда-то задавали старики и какой чудесный матлот из налимов умеет готовить здешний повар, – не матлот, а откровение! Он предвкушал обед, уже ел его мысленно и наслаждался. Когда же Анна Акимовна повела его под руку в столовую и он, наконец, выпил рюмку водки и положил себе в рот кусочек семги, то даже замурылкал от удовольствия. Жевал он громко, противно, издавая носом какие-то звуки, и глаза его при

этом становились масляными и алчными.

Закуска была роскошная. Были, между прочим, свежие белые грибы в сметане и соус провансаль из жареных устриц и раковых шеек, сильно сдобренный горькими пикулями. Самый обед состоял из праздничных, изысканных блюд, и вина были прекрасные. Мишенька прислуживал за столом с упоением. Когда он ставил на стол какое-нибудь новое кушанье и снимал с блестящей кастрюли крышку или наливал вино, то делал это с важностью профессора черной магии, и, глядя на его лицо и на походку, похожую на первую фигуру кадрили, адвокат несколько раз подумал: «Какой дурак!»

После третьего блюда Лысевич говорил, обращаясь к Анне Акимовне:

– Женщина *fin de siècle*, (13) – я разумею молодую и, конечно, богатую, – должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смела и немножко развратна. Развратна в меру, немножко, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомление. Вы, милая моя, должны не прозябать, не жить, как все, а смаковать жизнь, а легкий разврат есть соус жиз-

ни. Заройтесь в цветы с одуряющим ароматом, задыхайтесь в мускусе, ешьте гашиш, а главное, любите, любите и любите... На первых порах я на вашем месте завел бы себе семерых мужчин, по числу дней в неделе, и одного назвал бы Понедельником, другого – Вторником, третьего – Средой и т. д., чтобы каждый знал свой день.

Этот разговор волновал Анну Акимовну. Она ничего не ела и только выпила рюмку вина.

– Дайте же мне, наконец, сказать! – говорила она. – Для себя лично я не понимаю любви без семьи. Я одинока, одинока, как месяц на небе, да еще с ущербом, и, что бы вы там ни говорили, я уверена, я чувствую, что этот ущерб можно пополнить только любовью в обыкновенном смысле. Мне кажется, что эта любовь определит мои обязанности, мой труд, осветит мое мирозерцание. Я хочу от любви мира моей душе, покоя, хочу подалее от мускуса и всех там спиритизмов и fin de siècle... одним словом, – смешалась она, – муж и дети.

– Замуж хотите? Что ж, и это можно, – со-

гласился Лысевич. – Вам все нужно испытать: и замужество, и ревность, и сладость первой измены, и даже детей... Но торопитесь жить, торопитесь, милая, время уходит, не ждет.

– Вот возьму и выйду замуж! – сказала она, сердито глядя на его сытое, довольное лицо. – Выйду самым обыкновенным, самым пошлым образом и буду сиять от счастья. И, можете себе представить, выйду за простого рабочего человека, за какого-нибудь механика или чертежника.

– И это не дурно. Герцогиня Джосиана полюбила Гуинплена, и это ей позволено, потому что она герцогиня; вам тоже все позволено, потому что вы необыкновенная. Если, милая, захотите любить негра или арапа, то не стесняйтесь, выписывайте себе негра. Ни в чем себе не отказывайте. Вы должны быть так же смелы, как ваши желания. Не отставайте от них.

– Неужели меня так трудно понять? – спросила Анна Акимовна с изумлением, и глаза ее заблестели от слез. – Поймите же, у меня на руках громадное дело, две тысячи рабочих, за которых я должна ответить перед богом. Лю-

ди, которые работают на меня, слепнут и глохнут. Мне страшно жить, страшно! Я страдаю, а вы имеете жестокость говорить мне о каких-то неграх и... и улыбаетесь! – Анна Акимовна ударила кулаком по столу. – Продолжать жизнь, какую я теперь веду, или выйти за такого же праздного, неумелого человека, как я, было бы просто преступлением. Я не могу больше так жить, – сказала она горячо, – не могу!

– Как она хороша! – проговорил Лысевич, восхищаясь ею. – Бог мой, как она хороша! Но что же вы сердитесь, милая? Пусть я не прав, но неужели вы думаете, что если вы во имя идей, которые я, впрочем, глубоко уважаю, будете скучать и отказывать себе в жизненной радости, то рабочим станет от этого легче? Ничуть! Нет, разврат, разврат! – сказал он решительно. – Вам необходимо, вы обязаны быть развратной! Обмозгуйте это, милая, обмозгуйте!

Анна Акимовна была рада, что высказалась, и повеселела. Ей нравилось, что она так хорошо говорила и так честно и красиво мыслит, и она была уже уверена, что если бы, на-



пример, Пименов полюбил ее, то она пошла бы за него с удовольствием.

Мишенька стал наливать шампанское.

– Вы меня злите, Виктор Николаич, – сказала она, чокаясь с адвокатом. – Мне досадно, что вы даете советы, а сами совсем не знаете жизни. По-вашему, если механик или чертежник, то уж непременно мужик и невежа. А это умнейшие люди! Необыкновенные люди!

– Ваш батюшка и дядюшка... я их знал и уважал, – проговорил с расстановкой Крылин, который сидел, вытянувшись, как истукан, и все время, не переставая, ел, – были люди значительного ума и... и высоких душевных качеств.

– Ладно, знаем мы эти качества! – пробормотал адвокат и попросил позволения закурить.

Когда кончился обед, Крылина увели отдыхать. Лысевич докурил сигару и, покачиваясь от сытости, пошел за Анной Акимовной в ее кабинет. Укромные уголки с фотографиями, веерами на стенах и с неизбежным розовым или голубым фонарем среди потолка он не любил, как выражение вялого, неоригиналь-

ного характера; к тому же, воспоминания о некоторых его романах, которых он теперь стыдился, были у него связаны с этим фонарем. Кабинет же Анны Акимовны с голыми стенами и безвкусною мебелью ему чрезвычайно нравился. Ему было мягко и уютно сидеть на турецком диване и поглядывать на Анну Акимовну, которая обыкновенно сидела на ковре перед камином и, охватив колени руками, глядела на огонь и о чем-то думала, и в это время ему казалось, что в ней играет мужицкая, староверская кровь.

Всякий раз после обеда, когда подавали кофе и ликеры, он оживлялся и рассказывал ей разные литературные новости. Говорил он витиевато, вдохновенно, сам увлекался своим рассказом, а она слушала его и всякий раз думала, что за такое удовольствие можно заплатить не двенадцать тысяч, а втрое больше, и прощала ему всё, что ей не нравилось в нем. Случалось, что он рассказывал ей содержание повестей и даже романов, и тогда два или три часа проходили незаметно, как минуты. Теперь он начал как-то кисло, расслабленным голосом и закрывши глаза.

– Я, милая, давно уж ничего не читал, – сказал он, когда она попросила его рассказать что-нибудь. – Впрочем, иногда читаю Жюль Верна.

– А я думала, что вы расскажете мне что-нибудь новенькое.

– Гм... новенькое, – сонно пробормотал Лысевич и еще глубже забился в угол дивана. – Вся новенькая литература, милая моя, для нас с вами не подходит. Конечно, она должна быть такою, какова она есть, и не признавать ее – значило бы не признавать естественного порядка вещей, и я признаю ее, но...

Лысевич, казалось, уснул. Но через минуту опять послышался его голос:

– Вся новенькая литература, на манер осеннего ветра в трубе, стонет и воет: «Ах, несчастный! ах, жизнь твою можно уподобить тюрьме! ах, как тебе в тюрьме темно и сыро! ах, ты непременно погибнешь, и нет тебе спасения!» Это прекрасно, но я предпочел бы литературу, которая учит, как бежать из тюрьмы. Из всех современных писателей я почитаю, впрочем, иногда одного Мопассана. – Лысевич открыл глаза. – Хороший писа-

тель, превосходный писатель! – Лысевич за-  
двигался на диване. – Удивительный худож-  
ник! Страшный, чудовищный, сверхъесте-  
ственный художник! – Лысевич встал с дива-  
на и поднял кверху правую руку. – Мопас-  
сан! – сказал он в восторге. – Милая, читайте  
Мопассана! Одна страница его даст вам боль-  
ше, чем все богатства земли! Что ни строка,  
то новый горизонт. Мягчайшие, нежнейшие  
движения души сменяются сильными, бур-  
ными ощущениями, ваша душа точно под  
давлением сорока тысяч атмосфер обращает-  
ся в ничтожнейший кусочек какого-то веще-  
ства неопределенного, розоватого цвета, кото-  
рое, как мне кажется, если бы можно было по-  
ложить его на язык, дало бы терпкий, сладо-  
страстный вкус. Какое бешенство переходов,  
мотивов, мелодий! Вы покоитесь на ланды-  
шах и розах, и вдруг мысль, страшная, пре-  
красная, неотразимая мысль неожиданно на-  
летает на вас, как локомотив, и обдает вас го-  
рячим паром и оглушает свистом. Читайте,  
читайте Мопассана! Милая, я этого требую!

Лысевич замахал руками и в сильном вол-  
нении прошелся из угла в угол.

– Нет, это невозможно! – проговорил он, как бы в отчаянии. – Последняя его вещь истомила меня, опьянила! Но я боюсь, что вы останетесь к ней равнодушны. Чтоб она увлекла вас, надо ее смаковать, медленно выжимать сок из каждой строчки, пить... Надо ее пить!

После длинного вступления, в котором было много таких слов, как демоническое сладострастие, сеть из тончайших нервов, самум, кристалл и т. п., он наконец стал рассказывать содержание романа. Рассказывал он уже не так вычурно, но очень подробно, приводя наизусть целые описания и разговоры; действующие лица романа восхищали его, и, характеризуя их, он становился в позы, менял выражение лица и голос, как настоящий актер. От восторга он хохотал то басом, то очень тонким голоском, всплескивал руками или хватал себя за голову с таким выражением, как будто она собиралась у него лопнуть. Анна Акимовна слушала с восхищением, хотя уже читала этот роман, и в передаче адвоката он казался ей во много раз красивее и сложнее, чем в книжке. Он обращал ее внимание

на разные тонкости и подчеркивал счастливые выражения и глубокие мысли, но она видела только жизнь, жизнь, жизнь и самое себя, как будто была действующим лицом романа; у нее поднимало дух, и она сама, тоже хоча и всплескивая руками, думала о том, что так жить нельзя, что нет надобности жить дурно, если можно жить прекрасно; она вспоминала свои слова и мысли за обедом и гордилась ими, и когда в воображении вдруг вырастал Пименов, то ей было весело и хотелось, чтобы он полюбил ее.

Кончивши рассказывать, Лысевич, изнеможенный, сел на диван.

– Какая вы славная! Какая хорошая! – начал он немного погодя слабым голосом, точно больной. – Я, милая, счастлив около вас, но все-таки зачем мне сорок два года, а не тридцать? Мои и ваши вкусы не совпадают: вы должны быть развратны, а я давно уже пережил этот фазис и хочу любви тончайшей, не материальной, как солнечный луч, то есть, с точки зрения женщины ваших лет, я уже ни к чёрту не годен.

Он, по его словам, любил Тургенева, певца

девственной любви, чистоты, молодости и грустной русской природы, но сам он любил девственную любовь не вблизи, а понаслышке, как нечто отвлеченное, существующее вне действительной жизни. Теперь он уверял себя, что Анну Акимовну он любит платонически, идеально, хотя сам не знал, что это значит. Но ему было хорошо, уютно, тепло, Анна Акимовна казалась очаровательною, оригинальною, и он думал, что приятное самочувствие, вызываемое в нем этою обстановкой, и есть именно то самое, что называется платоническою любовью.

Он припал щекой к ее руке и сказал тоном, каким обыкновенно ласкают маленьких детей:

- Дуся моя, а за что вы меня оштрафовали?
- Как? Когда?
- Я к празднику не получил от вас наградных.

Раньше Анне Акимовне ни разу не приходилось слышать, чтобы адвокату к праздникам посылались наградные, и теперь она находилась в затруднении: сколько ему дать? А дать было нужно, так как он ждал, хотя смот-

рел на нее глазами, полными любви.

– Должно быть, Назарыч забыл, – сказала она. – Но это не поздно поправить.

Вдруг она вспомнила про вчерашние полторы тысячи, которые лежали у нее теперь в спальне, в туалетном столике. И когда она принесла эти несимпатичные деньги и подала их адвокату и он с ленивою грацией сунул их в боковой карман, то всё это произошло как-то мило и естественно. Неожиданное напоминание о наградных и эти полторы тысячи были к лицу адвокату.

– Мерсі, – сказал он и поцеловал ей палец.

Вошел Крылин с заспанным блаженным лицом, но уже без орденов.

Он и Лысевич посидели еще немного, выпили по стакану чаю и стали собираться. Анна Акимовна была немножко смущена... Она совершенно забыла, где служит Крылин и нужно ли давать ему деньги или нет, а если нужно, то теперь дать или послать в конверте.

– Где он служит? – шепнула она Лысевичу.

– А чёрт его знает, – пробормотал адвокат, зевая.



Она сообразила, что если Крылин бывал у дяди и отца и уважал их, то не даром: очевидно, делал добрые дела на их счет, служа в каком-нибудь благотворительном учреждении. Она, прощаясь, сунула ему в руку триста рублей; он как бы изумился и минуту молча смотрел на нее оловянными глазами, но потом как бы понял и сказал:

– Но квитанцию, многоуважаемая Анна Акимовна, вы можете получить не раньше нового года.

Лысевич совсем уже раскис и отяжелел и шатался, когда Мишенька надевал на него шубу. А спускаясь вниз, он имел вид совершенно расслабленного, и видно было, что как только он сядет в сани, то уснет тотчас же.

– Ваше превосходительство, – сказал он Крылину томно, останавливаясь среди лестницы, – не приходилось ли вам испытывать такое чувство, будто какая-то невидимая сила вытягивает вас в длину, вы все тянетесь-тянетесь и, наконец, обращаетесь в тончайшую проволоку? Субъективно это выражается в каком-то особенном сладострастном чувстве, которое ни с чем сравнить нельзя.

Анна Акимовна, стоя наверху, видела, как оба они дали Мишеньке по бумажке.

– Не забывайте! До свиданья! – крикнула она им и побежала к себе в спальню.

Она быстро сбросила платье, которое уже наскучило ей, надела капот и побежала вниз. И когда бежала по лестнице, то смеялась и стучала ногами, как мальчишка. Ей сильно хотелось шалить.

## IV. Вечер

Тетушка в просторной ситцевой блузе, Варварушка и еще каких-то две старушки сидели в столовой и ужинали. Перед ними на столе лежали большой кусок солонины, окорок и разные соленые закуски, и от солонины, очень жирной и вкусной на вид, валил к потолку пар. В нижнем этаже виноградных вин не употребляли, но зато было много разного рода водок и наливок. Кухарка Агафьюшка, полная, белая, сытая, стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами, а кушанья подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка с пунцовой лентой в волосах. Старухи были сыты еще с утра и за час до ужина пили чай со сладким сдобным пирогом, а потому ели теперь через силу, как бы по обязанности.

– Ох, матушки! – охнула тетушка, когда в столовую вдруг вбежала Анна Акимовна и села на стул рядом с ней. – Испугала до смерти!

В доме любили, когда Анна Акимовна бывала в духе и дурачилась; это всякий раз напоминало, что старики уже умерли, а старухи

В доме не имеют уже никакой власти и каждый может жить как угодно, не боясь, что с него сурово взыщут. Только две незнакомые старухи покосились на Анну Акимовну с недоумением: она напевала, а за столом грех петь.

– Матушка наша, красавица, картина писаная! – начала слащаво причитывать Агафьюшка. – Алмаз наш драгоценный!.. Народу-то, народу нынче приезжало нашу королеву глядеть – господи, твоя воля! И генералы, и офицеры, и господа... Я в окно глядела-глядела, считала-считала, да и бросила.

– А по мне, они хоть бы вовсе не ездили, подлецы! – сказала тетушка; она с грустью поглядела на племянницу и добавила: – Только время провели сиротке моей бедной.

Анна Акимовна была голодна, так как с самого утра ничего не ела. Ей налили какой-то очень горькой настойки, она выпила и закусила солониной с горчицей и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потом нижняя Маша подала индейку, моченые яблоки и крыжовник. И это тоже понравилось. Но только одно было неприятно: от изразцовой печки веяло

жаром, было душно, и у всех разгорелись щеки. После ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки с мятными пряниками, орехами и изюмом.

– Садись и ты... чего там! – сказала тетушка кухарке.

Агафьюшка вздохнула и села за стол; перед ней Маша поставила тоже рюмку для наливки, и Анне Акимовне стало уже казаться, что одинаково, как от печки, так и от белой шеи Агафьюшки, веет жаром. Говорили все о том, как теперь трудно стало выходить замуж, что в прежнее время мужчины если не на красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь не разберешь, что им нужно, и прежде оставались в девушках только горбатые и хромые, а теперь не берут даже красивых и богатых. Тетушка стала объяснять это безнравственностью и тем, что люди бога не боятся, но вдруг вспомнила, что ее брат Иван Иваныч и Варварушка – оба святой жизни – и бога боялись, а все же потихоньку детей рожали и отправляли в воспитательный дом; она спохватилась и перевела разговор на то, какой у нее когда-то женишок был, из завод-

ских, и как она его любила, но ее насильно братья выдали за вдовца иконописца, который, слава богу, через два года помер. Нижняя Маша тоже под села к столу и с таинственным видом рассказала, что вот уже неделя, как каждый день по утрам во дворе показывается какой-то неизвестный мужчина с черными усами и в пальто с барашковым воротником: войдет во двор, поглядит на окна большого дома и пойдет дальше – к корпусам; мужчина ничего себе, видный...

От всех этих разговоров Анне Акимовне почему-то вдруг захотелось замуж, захотелось сильно, до тоски; кажется, полжизни и все состояние отдала бы, только знать бы, что в верхнем этаже есть человек, который для нее ближе всех на свете, что он крепко любит ее и скучает по ней; и мысль об этой близости, восхитительной, невыразимой на словах, волновала ее душу. И инстинкт здоровья и молодости льстил ей и лгал, что настоящая поэзия жизни не пришла, а еще впереди, и она верила и, откинувшись на спинку стула (у нее распустились волосы при этом), стала смеяться, а глядя на нее, смеялись и остальные

ные. И в столовой долго не умолкал беспричинный смех.

Доложили, что пришла ночевать Жужелица. Это была богомолка Паша, или Спиридоновна, маленькая худенькая женщина, лет пятидесяти, в черном платье и белом платочке, остроглазая, остроносая, с острым подбородком; глаза у нее были хитрые, ехидные, и глядела она с таким выражением, как будто всех насквозь видала. Губы у нее были сердечком. За ехидство и ненавистничество в купеческих домах ее прозвали Жужелицей.

Войдя в столовую, она, ни на кого не глядя, направилась к образам и запела альтом «Рождество твое», потом спела «Дева днесь», потом «Христос рождается», затем обернулась и пронизала всех взглядом.

– С праздничком! – сказала она и поцеловала в плечо Анну Акимовну. – Насилу, насилу добралась до вас, благодетели мои. – Она поцеловала в плечо тетушку. – Пошла я к вам еще утром, да по дороге к добрым людям заходила отдохнуть. «Останься да останься, Спиридоновна», – ан, и не видала, как вечер настал.

Так как она не употребляла мясного, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всех исподлобья, и водочки три рюмки выпила. Накушавшись, помолилась богу и поклонилась Анне Акимовне в ноги.

Как это было в прошлом и в третьем году, стали играть в короли, а вся прислуга, сколько ее было в двух этажах, столпилась в дверях, чтобы поглядеть на игру. Анне Акимовне показалось, что раза два в толпе баб и мужиков промелькнул и Мишенька с снисходительной улыбкой. Первая вышла в короли Жужелица, и Анна Акимовна-солдат платила ей дань, а потом тетушка стала королем, и Анна Акимовна попала в мужики, или «тютюшки», что вызвало общий восторг, а Агафьюшка вышла в принцы и застыдилась от удовольствия. На другом конце стола составила еще партия: обе Маши, Варварушка и швейка Марфа Петровна, которую разбудили нарочно для игры в короли, и лицо у нее было заспанное, злое.

Во время игры разговор шел о мужчинах, о том, как трудно теперь выйти за хорошего человека, и о том, какая доля лучше – девичья



или вдовья.

– Девка ты красивая, здоровая, крепкая, – сказала Жужелица Анне Акимовне. – Только я никак не пойму, мать, для кого ты себя бережешь.

– Что же делать, если никто не берет?

– А, может, дала обет остаться в девах? – продолжала Жужелица, как бы не слыша. – Что ж, хорошее дело, оставайся... Оставайся, – повторила она, внимательно и ехидно глядя себе в карты. – Тэк, брат, оставайся... да... Только девы, преподобные-то эти самые, разные бывают, – вздохнула она и пошла с короля. – Ох, разные, мать! Одне, действительно, блюдут себя словно монашенки и ни синь пороха, а ежели какая и согрешит часом, то измучится вся, бедная, и осуждать грех. А вот другие девушки и в черных платьях ходят, и саваны себе шьют, а сами-то втихомолку старичков богатеньких любят. Да-а, канареечки мои. Иная шельма околдует старика и властвует над ним, голубушки мои, властвует, кружит его, кружит, а как набрала побольше денег да выигрышных билетов, так и заколдует до смерти.

В ответ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядела на образ. На лице ее изобразилось христианское смирение.

– Есть у меня одна знакомая девушка такая, врагиня моя лютая, – продолжала Жужелица, оглядывая всех с торжеством. – Тоже всё вздыхает, да всё на образа смотрит, дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то, бывало, придешь к ней, а она даст тебе кусок и прикажет земные поклоны класть, и сама читает: «В рождестве девство сохранила еси»... В праздник даст кусок, а в будни попрекает. Ну, а теперь уж я натешусь над ней! Натешусь вволю, алмазные!

Варварушка опять взглянула на образ и перекрестилась.

– Да, никто меня не берет, Спиридоновна, – сказала Анна Акимовна, чтобы переменить разговор. – Что поделаешь?

– Сама виновата, мать. Все ждешь благородных да образованных, а шла бы за своего брата-купца.

– Купца не нужно! – сказала тетушка и встревожилась. – Спаси, царица небесная! Благородный деньги твои промотает, да зато

жалеть тебя будет, дурочка. А купец заведет такие строгости, что ты в своем же доме места себе не найдешь. Тебе приласкаться к нему хочется, а он купоны режет, а сядешь с ним есть, он тебя твоим же куском хлеба попрекает, деревенщина!.. Выходи за благородного.

Заговорили все сразу, громко перебивая друг друга, а тетушка стучала по столу щипцами для орехов, и красная, сердитая, говорила:

– Не надо купца, не надо! А заведешь в доме купца, пойду в богадельню!

– Тш... Тише! – крикнула Жужелица; когда все утихло, она прищурила один глаз и сказала: – Знаешь, что, Аннушка, ласточка моя? Выходить замуж по-настоящему, как все, тебе не к чему. Ты человек богатый, вольный, сама себе королева; но и в старых девках оставаться как будто, детка, не годится. Найду-ка я тебе, знаешь, какого-нибудь завалыщенького и простоватенького человечка, примешь ты для видимости закон и тогда – гуляй, Малашка! Ну, мужу сунешь там тысяч пять или десять, и пусть идет, откуда пришел, а ты дома

сама себе госпожа, – кого хочешь, того любишь, и никто не может тебя осудить. И любишь ты тогда своих благородных да образованных. Эх, не жизнь, а масляница! – Жужелица щелкнула пальцами и подсвистнула: – Гуляй, Малашка!

– А грех! – сказала тетушка.

– Ну, грех, – усмехнулась Жужелица. – Она образованная, понимает. Человека зарезать или старика околдовать – грех, это точно, а любить милого дружочка даже очень не грех. Да и что там, право! Никакого греха нет! Всё это богомолки выдумали, чтобы простой народ морочить. Я вот тоже везде говорю – грех да грех, а сама и не знаю, почему грех. – Жужелица выпила наливки и крякнула. – Гуляй, Малашка! – сказала она, обращаясь на этот раз, очевидно, к себе самой. – Тридцать лет, бабочки, думала всё о грехах, да боялась, а теперь вижу: прозевала, проворонила! Эх, дура я, дура! – вздохнула она. – Бабий век – короткий век, и каждым денечком дорожить бы надо. Красива ты, Аннушка, очень и богата, а уж как стукнет тридцать пять или сорок, только и веку твоего, пиши конец. Не слушай, брат,

никого, живи, гуляй до сорока, а потом успеешь отмолить, – хватит времени поклоны бить, да саваны шить. Богу свечка, валяй и чёрту кочергу! Валяй всё в одно место! Ну, так как же? Хочешь облагодетельствовать человечка?

– Хочу, – засмеялась Анна Акимовна. – Мне теперь всё равно, я бы за простого пошла.

– Что ж, и хорошо бы! Ух, какого бы ты тогда себе молодца выбрала! – Жужелица зазмурилась и покачала головой. – Ух!

– Я и сама ей говорю: благородных не дождешься, так шла бы уж не за купца, а за кого попроще, – сказала тетушка. – По крайности, взяли бы мы себе в дом хозяина. А мало ли хороших людей? Хоть наших заводских взять. Все тверезые, степенные...

– А еще бы! – согласилась Жужелица. – Ребята славные. Хочешь, тетка, я Аннушку за Лебединского Василия посватаю?

– Ну, у Васи ноги длинные, – сказала тетушка серьезно. – Сухой очень. Виду нет.

В толпе около дверей засмеялись.

– Ну, за Пименова. Хочешь идти за Пименова? – спросила Жужелица у Анны Акимов-

НЫ.

– Хорошо. Сватай за Пименова.

– Ей богу?

– Сватай! – сказала решительно Анна Акимовна и ударила по столу. – Честное слово пойду!

– Ей богу?

Анне Акимовне вдруг стало стыдно, что у нее горят щеки и что на нее все смотрят, она смешала на столе карты и побежала из комнаты, и когда бежала по лестнице и потом пришла наверх и села в гостиной у рояля, из нижнего этажа доносился гул, будто море шумело; вероятно, говорили про нее и про Пименова и, быть может, пользуясь ее отсутствием, Жужелица обижала Варварушку и уж, конечно, не стеснялась в выражениях.

Во всем верхнем этаже горела только одна лампа и зале, и ее слабый свет через дверь проникал в темную гостиную. Был десятый час, не больше. Анна Акимовна сыграла один вальс, потом другой, третий, – играла непрерывно. Она смотрела в темный угол за роялью, улыбалась, мысленно звала, и ей приходило в голову: не поехать ли сейчас в город к

кому-нибудь, например, хоть к Лысевичу, и не рассказать ли ему, что происходит у нее теперь на душе? Ей хотелось говорить безумолку, смеяться, дурачиться, но темный угол за роялью угрюмо молчал, и кругом, во всех комнатах верхнего этажа, было тихо, безлюдно.

Она любила чувствительные романсы, но у нее был грубый, необработанный голос, и потому она только аккомпанировала, а пела чуть слышно, одним лишь дыханием. Она пела шёпотом романс за романсом, всё больше о любви, разлуке, утраченных надеждах, и воображала, как она протянет к нему руки и скажет с мольбой, со слезами: «Пименов, снимите с меня эту тяжесть!» И тогда, точно грехи ей простятся, станет на душе легко, радостно, наступит свободная и, быть может, счастливая жизнь. В тоске ожидания она склонилась к клавишам, и ей страстно захотелось, чтобы перемена в жизни произошла сейчас же, немедленно, и было страшно от мысли, что прежняя жизнь будет продолжаться еще некоторое время. Потом опять играла и пела чуть слышно, и кругом было тихо. Из нижне-

го этажа уже не доносился гул: должно быть, там легли спать. Давно уже пробило десять. Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь.

Анна Акимовна прошлась по всем комнатам, полежала на диване, прочла у себя в кабинете письма, полученные вечером. Было двенадцать писем поздравительных и три анонимных, без подписи. В одном какой-то простой рабочий ужасным, едва разборчивым почерком жаловался на то, что в фабричной лавке продают рабочим горькое постное масло, от которого пахнет керосином; в другом – кто-то доносил почтительно, что Назарыч на последних торгах, покупая железо, взял от кого-то взятку в тысячу рублей; в третьем ее бранили за бесчеловечность.

Праздничное возбуждение уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна села опять за рояль и тихо заиграла один из новых вальсов, потом вспомнила, как умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обедом. Поглядела она кругом на темные окна и стены с картинами, на слабый свет, который шел из залы, и вдруг нечаянно заплакала, и



ей досадно стало, что она так одинока, что ей не с кем поговорить, посоветоваться. Чтобы подбодрить себя, она старалась нарисовать в воображении Пименова, но уже ничего не выходило.

Пробило двенадцать. Вошел Мишенька, уже не во фраке, а в пиджаке, и молча зажег две свечи; затем он вышел и через минуту вернулся с подносом, на котором была чашка с чаем.

– Что вы смеетесь? – спросила она, заметив на его лице улыбку.

– Я внизу был и слышал, как вы шутили насчет Пименова... – сказал он и прикрыл рукой смеющийся рот. – Посадить бы его давеча обедать с Виктором Николаевичем и с генералом, так он помер бы со страху. – У Мишеньки задрожали плечи от смеха. – Он и вилки, небось, держать не умеет.

Смех лакея, его слова, пиджак и усики произвели на Анну Акимовну впечатление нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видеть его, и, сама того не желая, вообразила Пименова обедающего вместе с Лысевичем и Крылиным, и его робкая, неинтеллигентная фигу-

ра показалась ей жалкой, беспомощной, и она почувствовала отвращение. И только теперь, в первый раз за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименове и о браке с простым рабочим, – вздор, глупость и самодурство. Чтобы убедить себя в противном, преодолеть отвращение, она хотела вспомнить слова, какие говорила за обедом, но уже не могла сообразить; стыд за свои мысли и поступки, и страх, что она, быть может, сказала сегодня что-нибудь лишнее, и отвращение к своему малодушию смutilи ее чрезвычайно. Она взяла свечу и быстро, как будто ее гнал кто-нибудь, сошла вниз, разбудила там Спиридоновну и стала уверять ее, что она пошутила. Потом пошла к себе в спальню. Рыжая Маша, дремавшая в кресле около постели, вскочила и стала поправлять подушки. Лицо у нее было утомленное, заспанное, и великолепные волосы сбились на одну сторону.

– Вечером опять приходил чиновник Чаликов, – сказала она, зевая, – да я не посмела докладывать. Уж очень пьяный. Говорит, что опять завтра придет.

– Что ему нужно от меня? – рассердилась Анна Акимовна и ударила гребенкой об пол. – Я не хочу его видеть! Не хочу!

Она решила, что у нее в жизни никого уже больше не осталось, кроме этого Чаликова, что он уже не перестанет преследовать ее и напоминать ей каждый день, как неинтересна и нелепа ее жизнь. Ведь она на то только и способна, чтобы помогать бедным. О, как это глупо!

Она легла, не раздеваясь, и зарыдала от стыда и скуки. Досаднее и глупее всего казалось ей то, что сегодняшние мечты насчет Пименова были честны, возвышенны, благородны, но в то же время она чувствовала, что Лысевич и даже Крылин для нее были ближе, чем Пименов и все рабочие, взятые вместе. Она думала теперь, что если бы можно было только что прожитый длинный день изобразить на картине, то всё дурное и пошлое, как, например, обед, слова адвоката, игра в короли, были бы правдой, мечты же и разговоры о Пименове выделялись бы из целого, как фальшивое место, как натяжка. И она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастье,

что всё уже для нее погибло и вернуться к той жизни, когда она спала с матерью под одним одеялом, или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь уже невозможно.

Рыжая Маша стояла на коленях перед постелью и смотрела на нее печально, с недоумением, потом и сама заплакала и припала лицом к ее руке; и без слов было понятно, отчего ей так горько.

– Дуры мы с тобой, – говорила Анна Акимовна, плача и смеясь. – Дуры мы! Ах, какие мы дуры!